

А.М. Хохлова

МИГРАНТ КАК НАИВНЫЙ ЭТНОГРАФ: ОПЫТ ОСВОЕНИЯ НОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА

В статье анализируется ограниченность репертуара исследовательских позиций в социологических исследованиях города. Несмотря на многообразие акторов, действующих в городском социальном пространстве, в качестве легитимных «экспертов» в его описании традиционно рассматриваются либо сами социологи, либо усредненные «коренные горожане». В рамках данной статьи автор обращается к одному из альтернативных городских нарративов: личным историям освоения нового культурного пространства, реконструированным в глубинных интервью внутренних мигрантов. Опираясь на материалы своих полевых исследований, посвященных Санкт-Петербуржским мигрантам из различных частей России, она обнаруживает ряд параллелей между позициями профессионального этнографа, исследующего городское пространство, и приезжего, вынужденного осваивать это пространство: трудности ресоциализации, техники презентации компетентности, «остранение» собственной культуры и пр. Соответственно, нарратив миграции рассматривается как своеобразная «наивная этнография» города, где удачно сочетаются отсутствие рутинизированного знания о городе и разнообразие и интенсивность опытов столкновения с городской повседневностью.

Социальные отношения касаются каждого из нас, но в виде незаметной атмосферы; и мы сознаем действие этих отношений не больше, чем действие воздуха, которым дышим. Необходим случай, какое-то особое происшествие, чтобы нашему сознанию открылось, что окружает нас и пребывает в нас на протяжении столь долгого времени.

Изабель Берто-Виа

В изучении современного большого города одна из важнейших проблем состоит в ограниченности репертуара исследовательских позиций при анализе городского пространства. Современный город отличает бесконечное культурное многообразие, превращающее его в постоянно меняющийся поток акторов, пространственных моделей, нарративов и практик. В результате активной иммиграции городское пространство принимает вид мозаики культурных паттернов и социальных статусов; по мере включения в процесс глобализации его границы становятся все более прозрачными и гибкими.

Между тем, методологический аппарат социологических исследований города зачастую сводится к двум излюбленным позициям. Социолог либо

помещает свой проект в рамки классической субъектно-объектной парадигмы и сам выступает экспертом в описании городского пространства, взяв на себя ответственность за выбор объекта, структурирование ситуаций наблюдения, интерпретацию собранного материала, либо в поисках целостного и «объективного» знания обращается к «типичному местному жителю» — «коренному горожанину». Такая схема игнорирует существование альтернативных взглядов на город и, соответственно, менее распространенных и легитимных городских нарративов.

Предлагаемая нами научно-исследовательская программа фокусируется на одном из таких нарративов: нарративе внутренних мигрантов в большом городе (в нашем случае — Санкт-Петербурге). В рамках представленной статьи личная история миграции рассматривается как своеобразная наивная этнография города. Сравнительная особенность полевой работы профессиональных исследователей с рассказами мигрантов об адаптации в новом для них городском культурном пространстве, мы обнаруживаем ряд параллелей между перспективами этнографа и мигранта в понимании и освоении городской среды.

Чтобы прояснить наш подход, подробнее проанализируем сложившуюся исследовательскую ситуацию в изучении культурного пространства города.

Описание городского пространства: исходные исследовательские позиции

Городская повседневность может восприниматься и фиксироваться с разных перспектив: классического исследователя, обывателя, фланера, рассеяно, но с любопытством бродящего по городу, и туриста (Запорожец, Лавринец 2006). Каждая из этих ролей обладает рядом преимуществ и методологических ограничений. Так, принимая на себя активную экспертную позицию, социолог расплачивается за необходимость планомерного фокусированного анализа утратой целостного динамичного взгляда на город. Кроме того, если социолог превращает в объект исследования город, в котором живет сам, он неизбежно сталкивается с трудностями изучения собственной культуры, знание о которой является для него повседневным, опривыченным, с трудом поддающимся рационализации и вербализации. Эти трудности, присущие любому исследованию собственной культуры, особенно характерны именно для *urban studies*, где, по меткому замечанию О. Запорожец и Е. Лавринец (2006), «признание исследователя “Я не знаю, что изучать” — не свидетельство профессиональной некомпетентности, а точное отражение состояния человека, погружающегося в город, когда впечатления перебиваются, дробятся, ошеломляют своим разнообразием», но, с другой стороны, кажутся расплывчатыми и зачастую просто банальными.

Традиционный и наиболее легитимный для *urban studies* подход, когда исследователь делает самый предсказуемый шаг и обращается за экспертным знанием к «обычным горожанам», также не решает проблем потерянности, отсутствия четкого аналитического фокуса, опривыченности повседневных опытов. Человек с большим стажем городской жизни, разумеется, является хранителем личных воспоминаний, а следовательно, и носителем субъективной истории города и городских мест. Однако он может оставаться удивительно «незрячим», когда речь заходит о рутинных нормах и практиках городского культурного пространства. М. де Серто отмечает: «Переплетение путей, непризнанные поэмы, чьи знаки наступают друг на друга, ус-

кользают от прочтения (кажется, самая характерная черта практик городской жизни — слепота). Их подвижные надписи перемешиваются и складываются во множество историй, лишенных авторов из зрителей, выкроенных из пространственных фрагментов: историй, противостоящих репрезентациям — своей повседневностью, неопределенностью» (Серто 2005: 81–82). Другими словами, нарративы жителей обладают весьма ограниченным потенциалом отражения реального поведения в городском пространстве: многообразного, противоречивого и неуловимого.

Более того, сам «усредненный», типичный горожанин не существует. Он представляет собой не более чем конструкт, точно так же, как конструкцией является представление о городе в целом или о «сообществе горожан». Такое представление о городе полностью раскрывается предложенным Б. Андерсоном определением воображаемого сообщества: его члены действительно «никогда не будут знать большинства своих собратьев..., встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» (Андерсон 2001: 31). Вопрос о возможности выявления общего для всех жителей городов специфического способа жизни (*mode of life*) или умонастроения (*state of mind*), о котором писал еще Луис Вирт, до сих пор остается открытым (Вирт 1969: 50). Во всяком случае, любые универсальные черты, приписываемые городу/горожанам: ярко выраженное разделение труда, анонимность, светскость, большое количество поверхностных узкофункциональных контактов в ущерб личным, эмоционально нагруженным связям, — в разное время подвергались критике. Такие разные теоретики города, как Р. Сеннет и С. Сассен, М. Дэвис и Ш. Зукин констатируют невозможность рассмотрения города как целостной, внутренне согласованной системы и подчеркивают плюралистичность городских нормативно-ролевых систем.

Внимание фланера, любопытствующего зеваки, непостоянно и рассеянно. Он гибко реагирует на постоянно меняющуюся городскую повседневность, остро чувствует общую «атмосферу», но его впечатления эпизодичны и размыты.

Наконец, турист стремится в город, чтобы *увидеть* его, собрать как можно больше новых ярких опытов. Как рассуждает лирический герой Макса Фрайя, «любить незнакомые места легко: мы принимаем их такими, какие они есть, и не требуем ничего, кроме новых впечатлений». Впрочем, коллекционерская озабоченность туриста количеством и интенсивностью впечатлений оборачивается их поверхностностью и фрагментарностью. Турист осваивает городское пространство векторно: от одной признанной достопримечательности к другой. Его познавательная активность задается стереотипами «интересного», «заслуживающего внимания». При этом спальные районы, дворы, подъезды, квартиры и другие публичные и приватные городские места остаются вне сферы его внимания. Исследователь, обращающийся за материалом к нарративу туриста, рискует пожертвовать знанием о повседневности ради информации о необычном, бросающемся в глаза. Но, с другой стороны, он приобретает преимущество «взгляда со стороны», и сама повседневность, «тавтологичная, чрезмерно знакомая и потому невидимая» (Бойм 2002), порой превращается в оригинальный и нетривиальный объект социологического интереса.

Наше исследование культурного пространства Санкт-Петербурга, его

субъективного восприятия и членения, когнитивных и нарративных репрезентаций фокусируется на еще одном альтернативном городском нарративе. В качестве «экспертов» здесь выступили люди, приехавшие в Петербург из различных частей России. Нас прежде всего интересовал индивидуальный опыт освоения нового культурного пространства. Поэтому предпочтение было отдано техникам, предполагающим наименьшее воздействие на структуру собственных представлений информантов, в том числе нарративному интервью и анализу личных документов. Для описания динамики восприятия городского пространства информанты подбирались так, чтобы их можно было условно разделить на две группы: люди с небольшим стажем жизни в городе, составляющим не более пяти лет, и те, чей стаж проживания насчитывает более пятнадцати лет.

Данный выбор поля чрезвычайно значим методологически. Во-первых, речь идет именно о внутренних мигрантах. Это принципиально важный момент. В поверхностных коммуникациях городского публичного пространства они не стигматизируются «местными жителями» как «чужаки». Сами считая себя носителями, условно говоря, некой общероссийской «метакультуры» (с ее языком, символами и т.п.), они все же сталкиваются с дефицитом специфического для нового окружения повседневного знания о поведенческих практиках, нормах и пр. Другими словами, оставаясь маргинальной группой в силу смены социальной среды, эти «невидимые мигранты» не являются/не ощущают себя маргинализованными с точки зрения этнической культуры.

Во-вторых, в большинстве исследований, посвященных иммиграциям в большие города, исследователь рассматривает ситуацию с точки зрения горожанина и даже города в целом как некой культурной общности (Lenz-Romeiss 1970). Максимально важным в этом случае становится именно процесс адаптации. Приезжий (отчасти воспринимающийся как носитель угрозы из-за своей позиции чужака) сам постепенно становится горожанином, преодолевая границу социальной идентификации «мы — они».

На наш же взгляд, ценность представляет именно первоначальная роль мигранта как наблюдателя извне. Ведь по прошествии некоторого времени новая информация теряет свою остроту и непривычность, и детали, ранее бросавшиеся в глаза, «постепенно тускнеют, сливаются воедино, становятся фоном, хотя и придающим особый колорит всему окружающему, но уже не подающимся аналитическому членению» (Милграм 2001: 46).

В отличие от позиции туриста роль мигранта заведомо включает больший репертуар опытов и предполагает гораздо большую заинтересованность в результатах «исследовательской деятельности». Если вернуться к предложенному Максом Фрайем образу, то мигранту недостаточно просто «любить незнакомые места», ибо с ними — на долгое время или навсегда — будет связана вся его жизнь, и от того, насколько удачно пройдет интеграция, зависит и успешность его жизненных стратегий. *«И тут я поняла, — говорится в одном из собранных нами нарративов, — что бы ни случилось, наш роман с этим городом будет длиться долго»* (И1)*. Мигрант воспринимает отношения с городом как реципрокальные. По выражению нашего информанта, *«Питер — своенравный такой персонаж. Чтобы он тебя принял и тебе помогал в будущем, нужно с ним хорошенько познакомиться и понять его характер,*

* Здесь и далее цитируются интервью из личного архива автора, собранные в 2003–2006 гг. Информация об информантах представлена в приложении.

понять, кто он, кто ты и зачем вообще ты ему нужен» (И2). Приезжий, как правило, заинтересован в более глубоком по сравнению с туристом пласте официальной и неофициальной городской истории/историй. Набор его маршрутов шире и прагматичнее, поскольку охватывает пространства и социальные среды, не сводимые к советам путеводителей и экскурсоводов.

На первом этапе освоения города мигрантами устанавливаются основные социальные маршруты. Человек, впервые приехавший в Петербург, испытывает избыточную информационную нагрузку (Миглграм 2001), причем страдает от этого в большей степени, чем любой горожанин, поскольку он еще не выработал необходимых защитных механизмов. С другой стороны, именно отсутствие сложившихся механизмов подобного рода позволяет мигранту замечать те характерные, специфические и, возможно, крайне важные черты города, которые для петербуржца остаются незаметными или неосознаваемыми, складываясь в культурный фон или *common-sense knowledge*, если использовать терминологию Г. Гарфинкеля (Garfinkel 1967). Эта способность или «беда» делает мигранта своего рода экспертом в чужом городе, но и становится основанием определенного психического дискомфорта.

Большинство повседневных ситуаций не только наделяют человека с маленьким стажем жизни в городе новым опытом, но и требуют от него постоянного осмысления этого опыта, в особенности проблематичных ситуаций. Разумеется, полученное знание не принимает теоретической формы и почти никогда не подвергается письменной фиксации; очень часто оно даже не находит явного выражения в устной речи, поскольку знание людей полностью сосредоточено на поведенческих выборах повседневной жизни, на деятельности, осуществляемой изо дня в день. Другими словами, «каждый человек каждую минуту своей жизни проводит свое исследование. Но результаты этих «исследований» не принимают форму идей, концепций или научных дискуссий: они материализуются в качестве действий» (Bertaux-Wiame 1981).

Тем не менее, следует учесть, что в ходе интервью может реконструироваться ситуация, когда информант (в нашем случае приезжий) вынужденно испытывает превращение в этнографа и этнометодолога, описывающего собственную культуру и собственную повседневность (Hirschauer, Amann 1997). Различие заключается в том, что профессиональный исследователь при изучении собственной культуры сознательно совершает методологический шаг, определяемый в западноевропейской социологической литературе понятием «очуждение» или «остранение» (*Befremdung, othering*), в то время как внутренний мигрант осуществляет этот шаг непроизвольно, под влиянием ситуации. Таким образом, собирая городские нарративы мигрантов, мы имеем дело со своеобразными «наивными этнографиями» города, или «этно-этнографиями», если переиначить введенный Г. Гарфинкелем термин.

«Вхождение в поле»

Главная черта сходства этнографа-ученого и «этнографа поневоле» — это активная исследовательская позиция и заинтересованность в новой информации. Для профессионального этнографа первый этап полевой работы, так называемое «вхождение в поле», остается самым трудоемким и насыщенным. Именно здесь он обнаруживает те социальные каналы и точки опоры, которыми сможет пользоваться в дальнейшем. Он также осознанно или неосознанно усваивает элементарные правила поведения в поле и уместные

социальные реакции (Wax 1979: 69). Наконец, он собирает предварительную информацию об объекте: об идентичности членов группы и о ее властных структурах; о повседневных практиках и интересах людей; о ключевых фигурах, их целях и идеологиях, то есть о жизненной рутине группы, ее кризисах и реалиях (Schatzmann, Strauss 1979: 78). Те же вопросы и задачи, хотя бы и по-иному сформулированные, являются чрезвычайно актуальными для мигрантов, входящих в новую социальную среду. Особая активность в освоении городского пространства в промежутки времени, лишь незначительно отстоящий непосредственно от миграционного события, часто актуализируется в интервью: *«Был момент, когда я именно знакомился с городом, а потом этот момент прошел, этот период закончился...»* (И3). Снижение интереса к значимым городским событиям связывается информантами с привыканием: *«Иностранцы очень часто оказываются в большей степени в курсе модных событий, происходящих в городе: каких-то выставок, презентаций и так далее. Но со временем, с привыканием ты начинаешь меньше во всем этом ориентироваться»* (И4).

Кроме того, между двумя ролями можно обнаружить некоторые параллели и в техниках презентации компетентности, в демонстрации своей роли как эксперта. Этнографы, профессиональные или вынужденные, стремятся показать, что их исследовательская инициатива не пропала даром, что им удалось получить особую, эксклюзивную информацию. Если у этнографов-ученых есть традиционная форма презентации своего экспертного знания — научный текст, то у наших информантов, вне зависимости от стажа городской жизни, эту функцию выполняют многочисленные байки о том, как много они знают о городе такого, о чем и не подозревает большинство «коренных петербуржцев»: *«Я бы столько мог порассказать об этих проходных дворах, да жители домов бы сами заслушались!..»* (И5), или: *«И я смотрю: бедный старичок одного спрашивает, как добраться до Вознесенского проспекта, другого — все только головами мотают. Ну, я объяснила ему, посмеялась так в душе»* (И6). Интервью вообще пестрят сообщениями о том, как информант продемонстрировал чудеса ориентации в Петербурге, объяснил дорогу заблудившемуся лучше, чем коренные петербуржцы, выступил гидом для гостей.

В обоих рассматриваемых нами случаях вхождение в среду связано с драматическими трансформациями интерпретативных и поведенческих систем социальных акторов. Так, миграция автоматически влечет за собой десоциализацию, поскольку нормативно-ролевые комплексы и культурные паттерны оставленной социальной среды в принимающей среде большей частью перестают быть релевантными. *«Это было весело, но это был ужас — рассказывает один из информантов. — Я, наверное, чувствовал себя, как какой-то турист на болоте. В смысле, что никогда не знаешь, какая кочка надежная, а где потонешь совсем. И постоянно нужно контролировать каждый свой шаг. Потому что... потому что одна мелочь — и заблудился. Или запутался»* (И2). В этом смысле вхождение в новое социальное пространство можно рассматривать как ресоциализацию, опыт которой, зачастую болезненный, специфическим образом фиксируется в воспоминаниях о «глупых», «смешных», «неловких» случаях и деталях. В нарративе (и особенно в нарративе, значительно отстающем во времени от миграционного события) такой опыт либо облекается в форму шутки: *«Представляешь, я дорогу у старушки хочу*

спросить, трогая ее за рукав, а она в крик: «Молодой человек, я вам ничего не отдам, не на ту попали!» (И7), — либо подвергается «забвению»: «М-м, что же такое могло произойти? Я думаю, казусы, конечно, помнятся, но они как-то дальше закрадываются, в подсознание» (И4). Первая стадия вхождения в поле, когда профессиональный исследователь пытается вовлечь себя в разного рода социальные отношения и определить для себя роли, которые в будущем будет играть, также получает у многих авторов название «стадии инициации или ресоциализации» (Wax 1979: 72). Значение этого периода исследовательской активности амбивалентно. С одной стороны, приобретение исследователем опыта (ре)социализации считается ключевой предпосылкой понимания, в духе Макса Вебера, которое, в свою очередь, является основой любого качественного социологического исследования. С другой стороны, как справедливо отмечает Розали Вакс, этап вхождения в поле зачастую тяжело переживается и характеризуется растерянностью, потерей ориентации, шоком (Wax 1979). Ярким примером могли бы послужить знаменитые дневники Бронислава Малиновского, опубликованные уже после его смерти и развенчавшие миф о «героическом антропологе» (Malinowski 1967), или первые главы «Deep Play» Клиффорда Гирца (Geertz 1973), где американский антрополог и его жена предстают как «невидимки» в глазах туземного населения. Поначалу исследователь словно живет в «стране социального небытия», хотя и пытается вести себя так, как будто является членом нового социального пространства и знает, что делает. Переживаемые им ситуации часто кажутся неприятными или неловкими. По прошествии времени этот болезненный опыт может находить отражение в итоговом этнографическом тексте, но в процессе мифологизации значимых ситуаций часто просто выпускается или описывается в шуточной или гротескной форме (см. описание первой стадии вхождения в поле у большинства этнографов, напр., Agar 1980; Geertz 1973; Wax 1979; Whyte 1993).

Следует отметить, что дезориентация, которую переживает этнограф или внутренний мигрант при включении в новое социальное пространство, отнюдь не означает, что это включение происходит «с чистого листа» и не предваряется сбором информации и формированием определенных представлений о предстоящем. В профессиональной исследовательской ситуации это более очевидно. Исследователь имеет дело с чуждым ему опытом, и он не может без предварительной проверки утверждать, что члены изучаемой группы разделяют представления о повседневности, характерные для его собственной группы и культуры. И все же этнографы отправляются в поле, уже имея определенные эмпирические ожидания об изучаемой культуре, теоретический багаж, знание методологии и прагматические представления о характере и качестве предполагаемых исследовательских данных. Впоследствии само исследование может не только подтвердить или опровергнуть прежние гипотезы, но и стать основанием новых теоретических построений (Schweizer 1999: 5–6).

Наш исследовательский опыт свидетельствует о сходном поведении мигрантов. В большинстве случаев имела место добровольная миграция, решение о которой принималось информантами не спонтанно, а в результате долгого подготовительного процесса, включающего учет обстоятельств, сбор информации, оценку рисков и собственно принятие решения. *«А потом уже приехала, когда мне было лет пятнадцать, в 10-м классе, ну, когда я уже выбрала,*

что я сюда буду поступать. И я уже приезжала, я смотрела, как бы собирала информацию, грубо говоря. <...> И потом вот в конце концов все-таки преобладали там какие-то субъективные факторы в том, что я выбрала именно Питер. Ну, во-первых, все равно здесь папа живет, хотя на самом деле я знала, что я с ним жить не буду, то есть это тоже, я об этом как-то не думала, я знала, что я буду жить в общежитии. Вот. И потом моя подруга, она старше меня на год была, и она была для меня большим этим, авторитетом, поэтому, когда она поступила в Питер, а она здесь родилась, у нее здесь квартира была, ну и сейчас есть, она поехала сюда поступать, на филфак она поступила. Ну, естественно для меня это как бы все — раз сюда Юлька эта поехала поступать, то все, я должна была сюда. Ну вот еще в ее классе, тоже на год меня старше был мальчик, который ее любил, он тоже сюда поехал поступать. Ну и все, для меня Питер, это было уже решено, что сюда поеду» (И8). В тексте интервью миграция предстает как (отчасти) рациональный процесс принятия решений, разбитый на множество небольших последовательных шагов, каждый из которых означает частичный отказ от социального контекста прежней референтной группы мигранта и переход к новому контексту. В нашем исследовании получила эмпирическое подтверждение выдвинутая американскими социологами гипотеза, согласно которой большинство людей еще до миграционного события обладает определенной ментальной или психологической картой (*mental or cognitive map*), то есть представлением о месте, ставшем целью миграции, причем как о его пространственных, так и социальных характеристиках (Brown, Sanders 1981: 152).

Роль источников информации у этнографов принимают на себя книги, а позже так называемые «ключевые информанты» (как Док в знаменитом исследовании У. Уайта (Whyte 1993)). В случае миграции эту роль часто играют члены семьи и знакомые, служащие своеобразными посредниками между мигрантом и потенциальной целью миграции и отражающие общий структурный и функциональный контекст, в котором формируются мотивации и оценки мигранта. Источниками информации для потенциальных мигрантов служат также книги, фильмы, телепередачи о Петербурге. Причем иногда даже на первый взгляд незначительное и фрагментарное впечатление может в итоге оказаться решающим в процессе принятия решения о переезде. «У нас дома хранился огромный альбом фотографий: путеводитель по Ленинграду. Такие красивые черно-белые фотографии, знаете. Я еще в детстве любила их рассматривать, хотя альбом был такой большой, что меня перевешивал. Позже я смотрела и думала: я хочу среди такой красоты жить. Мне почему-то казалось, что в таком красивом месте могут жить только такие хорошие люди» (И1). Многие информанты до переезда один или несколько раз приезжали в Петербург, осуществляя своеобразный аналог пилотажного исследования.

Исходные ожидания относительно принимающей среды могут перекрываться с реальностью, а могут с ней совершенно не совпадать. Впоследствии они могут послужить причиной разочарования и психологического дискомфорта или привести к реинтерпретации наблюдаемых ситуаций окружающего социального пространства в духе выстроенных категорий. Впрочем, наиболее распространенным исходом является все же трансформация представлений о городе.

Методологическое «любопытство» этнографа и культурное «очуждение»

Вернемся теперь к понятию «остранения» культуры. Хиршауэр и Амман отмечают, что заинтересованность этнографии во всем «любопытном» определяет и ее способность превращать любые возможные объекты в «любопытные», то есть в объекты теоретического и эмпирического интереса. Основной предпосылкой этнографии является неизвестность всех социальных миров, даже тех, в которых живем мы сами. Этнограф превращает самые обычные явления и поля в социологические феномены, и этот новый взгляд позволяет ему подняться на новую профессиональную ступень, отказавшись от ложного доверия к собственной культуре (Hirschauer, Amann 1997: 9–10). Современные культуры по сравнению с традиционными характеризуются большим разнообразием культурных полей, которые не доступны ни общечеловеческому повседневному опыту, ни даже социологической оценке без целенаправленного изучения. Таким образом, количество возможностей исследования «чужих» опытов даже в пределах собственной культуры постоянно растет, и именно в таких исследованиях особую методологическую важность приобретает «очуждение» изучаемых сообществ и субкультур в гносеологических целях. В качестве ключевых примеров плюрализации социальных опытов внутри доминантной культуры авторы приводят как раз миграции и урбанизацию. «Дифференциация жизненных стилей в современных культурах может и должна служить источником социологических “inside-stories”, — считают они (Hirschauer, Amann 1997: 12–13). Даже в целом доступные для исследователей сферы повседневного опыта, например, фрагменты городского публичного пространства, также следует рассматривать в контексте искусственного дистанцирования, гносеологическое «остранения».

В целом традиция культурного «очуждения» не нова. Она восходит еще к А. Шюцу (Schuetz 1972) и находит особое воплощение в «кризисных экспериментах» Г. Гарфинкеля (Garfinkel 1963, 1967) и в позднейших работах И. Гофмана, в которых метафора «театра» и понятие «ритуалов повседневности» служат своего рода выражением методологического недоверия по отношению к человеческому поведению (Гофман 2000; Goffman 1971, 1994).

Альфред Шюц уделяет особое внимание процессу включения «Чужого» в социальную группу, где под «Чужим» понимается «представитель нашей эпохи и цивилизации, который стремится к устойчивому принятию или, по крайней мере, толерантному отношению со стороны определенной социальной группы» (Schuetz 1972: 53), а в качестве наиболее продуктивной модели рассматривается именно иммиграция. Отправной точкой социологического анализа в данном случае служит позиция, согласно которой люди в своем повседневном поведении и образе мыслей руководствуются знанием, которое по своему характеру является гетерогенным, логически непоследовательным (поскольку интересы людей постоянно меняются, а потому меняются и горизонты релевантного знания), неясным (поскольку все, что воспринимается индивидами как нечто само собой разумеющееся, в реальности основывается лишь на неточных предположениях), противоречивым (так как это знание является настолько общим и поверхностным, что в конкретных ситуациях затрудняет возможность четкой категоризации и дифференциации). Тем не менее, люди склонны рассматривать это знание как культурно стандартизованный образец интерпретаций и поведения, воспринимаемый как данность и служащий универсальной системой референции в

любых конкретных ситуациях. При включении в новую социальную группу «Чужой» испытывает личностный кризис, поскольку обнаруживает, что его система непроблематичного образа мыслей потеряла действенность. С другой стороны, все, что группа воспринимает как данность, мигрант вынужден ставить под сомнение, поскольку он не принимал участия в процессе становления принятых в ней социальных отношений. Шюц называет индивида в такой позиции «человеком без истории».

В результате на первом этапе включения в новую социальную группу иммигрант переживает потерю *доверия*, что и является основной причиной его страхов и вспышек гнева, неуверенности и метаний между сдержанностью в социальных контактах и излишней их интимностью. Новые нормы, роли, социально одобряемые стратегии решения проблем он вынужден осваивать через наблюдение, подражание, перевод и реинтерпретацию, так что культурные образцы принимающей группы долгое время остаются для него не надежным укрытием, а «полем приключений и рисков». Следствием пограничной позиции мигранта являются две важнейших характеристики: его «объективность» в оценке принимающей среды и «сомнительная лояльность». «Объективность» в данном случае связывается с необходимостью активного, сопровождающегося рефлексией исследования окружающего мира, в то время как лояльность мигранта ставится под сомнение в силу того, что культурные паттерны принимающей группы на первом этапе являются для него не сферой защиты и уверенности, а своего рода лабиринтом, в котором он по минутно теряет ориентацию (Schuetz 1972).

Сходную идею мы обнаруживаем у Г. Зиммеля. Отсутствие эмоциональной привязанности определяет, по его мнению, «*объективность*» и *беспристрастность* в восприятии и оценке мигрантом нового социального пространства и действующих в нем социальных акторов (Simmel 1958). Таким образом, в обеих концепциях «объективность» интерпретируется как следствие «лиминальной» позиции мигранта и означает не изначально критическую установку по отношению к культурным образцам принимающей группы, а необходимость тщательно исследовать все то, что воспринимается членами группы как данность.

Идеи Зиммеля и Шюца развиваются в теории «маргинального человека» (marginal man), получившей распространение в США, в первую очередь в рамках Чикагской социологической школы. Первая работа в этом тематическом поле — «Human Migration and the Marginal Man» («Миграция людей и маргинальный человек») — принадлежит перу Роберта Парка (Park 1928). В ней он убедительно показывает, что если миграции прошлого были по существу миграциями коллективными, так что вместе с людьми в принимающую среду ввозился и прежний социальный порядок, то в XX в. ситуация критическим образом меняется, и на сцену выходит индивидуальная миграция, в основе которой лежат личные мотивы. В последнем случае возникают неведомые прежде проблемы включения в новые социальные отношения, предполагающего радикальную смену системы референции. Пока эта трансформация не приходит к завершению, мигранты оказываются на периферии (margin) двух культур и превращаются в маргиналов, обладающих смешанной идентичностью и руководствующихся дихотомической моралью. Эти процессы, зачастую порождающие психологические кризисы, впоследствии исследовал Э. Стоунквист, уделив особое внимание проблематизации иден-

тичности и возникновению фрагментированных систем лояльности у мигрантов (Stonequist 1937). Важно отметить, что, по Парку, индивидуализация через вычленение из старых социальных сетей имеет и ряд положительных моментов. Так, мигранты высвобождаются из-под социального контроля, который прежде осуществляли над ними традиции и обычаи. Таким образом, они становятся более эмансипированными, просвещенными и в определенном смысле даже космополитическими (Park 1928: 892).

В рамках феноменологической социологии убедительно показано, почему ученый должен занимать позицию маргинального наблюдателя, сходную с позицией Чужого, а не носителя метакультуры и эксперта в ее описании. Подобная перспектива позволяет фактически обойти классическую проблему конструирования властных отношений между субъектом и объектом исследования и обеспечивает лучшее понимание дискурсивных практик самопрезентации поля. Эта проблема решается нами как раз с помощью использования маргинальной выборки, поскольку функция наблюдения перекладывается на плечи информантов. Сами же информанты с небольшим стажем городской жизни, разумеется, включены в определенную властную структуру («приезжие» — «горожане»). Но эта структура оказывает на них значительно меньше давления в сравнении с воздействием стереотипов повседневности и неписаных правил научного сообщества на профессиональных этнографов.

Многообразие социальных миров и возможности «бриколажа»

Современная этнография имеет дело с полями, социальная перспектива которых не является протяженной и непрерывной: в них сосуществуют различные нормы и установки, находящиеся в отношениях конкуренции друг с другом. Еще в 1986 г. У. Бек, вынося диагноз современности, связывает повсеместный, бурно развивающийся процесс индивидуализации с плюрализацией ролевых и знаковых систем (Beck 1986). Он отмечает, что по мере того, как традиционная семья, религия, институт соседства теряют свое значение в качестве референтных и, тем более, контролирующих систем, индивид превращается в единицу производства социального мира.

На смену традиционной дифференциации индустриальной эпохи с ее «социально-моральными средами» приходит новая внутренняя дифференциация общества, предполагающая большое количество субкультур и стилей потребления. Индивид как бы заново погружает себя в предварительно выбранные социальные сети. В частности, традиционные структуры поселения вытесняются новыми, характерными для городов структурами, с типичным для них смешанным социальным составом и ослабленными отношениями соседства. Социальные контакты, которые ранее были неизбежными, должны теперь проходить процедуру отбора, создаваться и поддерживаться в соответствии с индивидуальным выбором, в результате чего возникают новые, самостоятельно организованные социальные сети со специфическим репертуаром норм и ролей (Beck 1986: 137–138). Социологическое исследование в современном мире означает путешествие вслед за индивидом по этим гибким социальным сетям и средам.

Мигрант в большом городе также вынужден функционировать в разнородных фрагментах культурного пространства, постепенно обнаруживая, что не существует ни универсальных правил поведения, ни общепринятых

социальных реакций (явление *partial truth* (Han 2000)). Ведь важнейшая характеристика городского культурного пространства — это плюралистичность нормативно-ролевых систем, в которых вынужденно или добровольно должен действовать индивид, с одной стороны, и их функциональная ограниченность, с другой стороны. Наши информанты склонны подчеркивать внутреннюю сложность, разнообразность и противоречивость городской среды: *«В Питере... здесь столько всего намешано! Разные люди, разные места, я бы даже сказал, разные языки, в том смысле, что сытый голодного не разумеет, новый русский — нищего интеллигента, а какой-нибудь задумчивый панк — наци»* (И5).

Одним из самых серьезных затруднений, с которым сталкивается индивид с небольшим стажем жизни в крупном городе, является неумение действовать в узкоспециализированных ролях, как детерминированных кратковременными ситуациями (пассажир в транспорте, покупатель, посетитель в музее, участник клубной дискотеки), так и относительно стабильных, принадлежащих преимущественно приватной сфере и требующих формирования определенной идентичности (член субкультуры или просто дружеского круга). Скажем, проблематично воспринимается «церемониальное» поведение в отношениях соседства, когда контакты между живущими неподалеку людьми ограничиваются формами приветствия и общими вопросами: *«Отношения с соседями — вот это было странно. Вот каждый день ты их видишь. Каждый день вежливо здороваешься, придерживаешь дверь, иногда мило беседуешь о погоде. И ничего о них не знаешь абсолютно! Привычно было, что соседи дома — это почти семья»* (И11). Для информантов из небольших поселений непривычным и ненормальным может стать существование «знакомых незнакомцев» — знакомых в лицо людей, с которыми они часто сталкиваются, но никак не взаимодействуют, воспринимая их скорее как «элемент декорации». *«Это было очень, очень странно. Я ведь примерно в одно и то же время выхожу из дома. И не один я такой. Получается как бы, что люди по пути на работу встречаются одни и те же практически. И вот ты их видишь каждый день, узнаешь. Они тебя тоже, наверное. Ага, думаешь, вот мужик с таксой, вот парочка, они всегда под ручку. И радуешься, когда их встречаешь. Но ведь они тебе никто, и ты с ними даже не заговорил ни разу»* (И2).

Большой город — это социальная ситуация с широкими контекстуальными рамками, создающая своих участников и заставляющая их действовать адаптивно. Город требует от человека восприятия нормативно-ролевых комплексов в качестве формальных структур, ни одна из которых не может претендовать на универсальность или непререкаемость. Не то чтобы у горожанина не было представления о «собственном мире», но, как показали еще Бергер и Лукман, «в обществе, в котором расходящиеся миры становятся общедоступны, как на рынке... растет общее сознание релятивности всех миров, включая и свой собственный» (1995: 278). Рутинизированное знание об относительности исполняемых ролей является неотъемлемым условием самоидентификации с городским образом жизни, существенно облегчая частичную интеграцию индивида в городское публичное пространство. В представлении многих информантов анонимность городской публичности связана со свободой, отсутствием жесткого институционализированного контроля и, наконец, с терпимостью к поведенческим девиациям, вплоть до

экстравагантности: *«Мне страшно нравится, что в Питере можно встретить таких безумных чудаков, что даже не верится. Самое смешное, что их, вроде как, никто и не замечает, даже глаза отводят. У нас бы затюкали их совсем»* (И12).

Культурное пространство большого города предлагает мигранту, как и социологу-этнографу, самый широкий ассортимент символов, смыслов, ролей, так что каждый индивид может выбирать одежду, речь, места досуга или сексуальное поведение и осваивать новые для себя субкультурные стили в соответствии с требованиями ситуации. Предпочитает ли человек строгий костюм или неформальный стиль в одежде, говорит ли подчеркнута правильно или пересыпает речь жаргонизмами — в городском культурном пространстве, безусловно, есть такие социальные сети, в которых эти предпочтения разделяют, и такие, где они вызывают неодобрение. Каждая роль требует специфических навыков и умений. Каждая социальная сеть формирует собственный нормативно-ролевой комплекс. При этом нормы и ценности разных культурных подпространств могут не только существенно различаться между собой, но и быть прямо противоположны друг другу. Особенно справедливо это для ряда молодежных субкультур, изначально формирующихся как оппозиция официальной культуре (которая в современном обществе также является не чем иным, как стандартизированным набором «провинций смысла»).

В городском пространстве «человек буквально приговорен к свободе», — пишет Р. Хицлер и А. Хонер. Этот «приговор» сопряжен с рядом преимуществ в личной биографии (растет число личных возможностей и выборов), но и с рядом серьезных недостатков (человек теряет доселе защищавший его надежный «свод» значений и ролей, который возводила над ним культура). В качестве компенсации возникает развитый рынок смыслов, своего рода «культурный супермаркет», где на продажу выставлены символы и значения социального мира. Прежде неколебимые, мировоззрения, политические идеологии, милье превращаются в объект зависимого от моды спроса и предложения. Индивид должен лавировать среди всевозможных ситуаций, группировок, движений, сред, субкультур, каждая из которых предлагает свои образцы категоризации и схемы поведения. Чтобы поместить себя в одну из этих социальных сетей, человек должен *решился* на членство в ней (Hitzler, Honer 1994). В каждой из выбранных «провинций смысла» господствуют свои собственные системы релевантности, правила и рутины. Сети можно менять, как надоевшую одежду, или использовать как инструмент для достижения определенной цели. *«Мне нужно было понять, где я, собственно, свой. То есть понятно было как раз, что я нигде не свой. Но вот где мне будет лучше, понимаешь? Я сначала с кучей людей перезнакомился, в нескольких тусовках побывал. Это не как в детстве, где твои друзья появляются случайно в общем-то, да? Нет, я четко знал, что сознательно выбираю себе круг общения на будущее»* (И2).

Индивид выбирает ту или иную сеть или совмещает членство сразу в нескольких из них, принимает на себя роли, каждая из которых составляет лишь часть его личной идентичности и занимает лишь часть его времени. Он складывает элементы значений в некоторое смысловое целое и тем самым уподобляется «мастеру-любителю» (Bastler), собирающему замысловатое приспособление из подручных деталей (Hitzler, Honer 1994: 310–311).

Хицлер и Хонер используют эту метафору, чтобы провести четкое различие между социальным конструированием «символических универсумов», в интерпретации Бергера и Лукмана, и игрой со всевозможными ролями и смыслами, созданием из них мозаики или коллажа в рамках индивидуальной биографии. Представляется, что этот процесс сродни тому, который Клод Леви-Строс (1999) определяет термином «бриколаж» в своем описании механизмов мышления в традиционном обществе. Метафора «мастера» подчеркивает относительную спонтанность в выборе ролей: выбор этот, возможно, не слишком систематичен и не всегда поддается рефлексии, хотя прагматическая составляющая в нем неизменно присутствует. Например, в рамках миграционного события этот выбор может реализоваться как вариант брачной стратегии: *«Но если еще так честно говорить, то в Питер-то я, хоть и маленькая тогда была, и глухая, и неопытная, но я на самом деле все прекрасно понимала. У меня тогда не было любимого человека, и в 17 лет это обычно бывает проблемно, просто остро стоит вопрос ребром. Вот. И я понимала, что я еду в Питер за молодым человеком. То есть, это не в том смысле, что это именно Питер, а в том смысле, что поле поиска, оно более широкое, и я это прекрасно понимала, то есть в 17 лет я прекрасно понимала, что здесь больше шансов найти то, что я ищу, потому что у нас это просто невозможно»* (И8).

В других случаях первоначальный дефицит связей мигранта может компенсироваться за счет выстраивания кратковременных ситуативных функциональных контактов: *«У меня не было сначала настоящих друзей, но какие-то эпизодические знакомства возникали постоянно. Ну, вот например, я не знал, как лучше доехать из общежития до Политеха, и какой-то парень сказал ехать с ним. Потом мы, кстати, часто встречались на улице, но только здоровались друг с другом, а потом перестали»* (И5). Здесь именно ярко выраженная непостоянность связей, которые распадаются почти сразу же после возникновения, гарантируют их эффективность, поскольку обеспечивают постоянную адаптацию к потребностям каждой отдельной ситуации.

Здесь уместно вспомнить еще об одном преимуществе *методологического*, то есть научного, дистанцирования, сформулированном еще Г. Зиммелем. Человек, не включенный в группу, обладает большей социальной подвижностью, то есть имеет большую свободу при выборе контактов. Ему прощается своеобразный «интерактивный промискуитет», который со временем неизбежно замещается отношениями доверия, но лишь с ограниченным кругом лиц (Simmel 1958: 26). Обычно исследователь, сформулировав для себя лишь самые общие представления о своей научной проблеме, уже имеет на примете определенный локус, который он считает подходящим для исследования, а также обладает представлениями о необходимых тактиках вхождения в поле. Однако при определенных обстоятельствах может оказаться выгодной попытка включения в несколько групп одновременно для их последующей оценки и выбора лучшего поля (Schatzmann, Strauss 1979: 80).

Подобной коммуникативной гибкостью обладают и люди с небольшим опытом жизни в определенной социальной среде. Так, Зиммель рассматривает процессы включения «чужого» в новую социальную среду на примере миграции и обращает внимание на диалектическую амбивалентность позиции мигранта, подчеркивая, что смена *географического* пространства не подразумевает автоматического отказа от *социального* пространства проис-

хождения индивида. «Чужой» сохраняет определенную дистанцию по отношению к новому пространственному окружению, причем отношение к пространству может в данном контексте рассматриваться как важнейший фактор и одновременно символ отношения к населяющим его людям (Simmel 1958: 510). При этом позиция отстранения отнюдь не предполагает неучастия в существующей сети коммуникаций принимающей среды. Речь скорее идет об особом типе участия, предполагающем *свободу контактов* и отсутствие строгой опривыченной их закреплённости. Наши эмпирические данные свидетельствуют о том, что существует возможность инструментального использования фрагментов городского культурного пространства для более успешного включения в него, а также вероятность стратегического выбора «наиболее удобных» коммуникативных сетей у внутренних мигрантов, очень напоминающего выбор «наиболее доступного» поля у этнографа.

Включенное наблюдение — это прежде всего форма социальной интеграции чужого в исследуемую культуру, причем решающим методологическим шагом в сборе этнографических данных является высвобождение от принуждений метода, препятствующих установлению непосредственного, личного контакта с участниками наблюдаемых социальных ситуаций. В качестве основания отбора и обработки данных служат уже не формальные требования метода, а личный исследовательский опыт. Главная задача этнографа — усвоить способы упорядочения социального мира в рамках исследуемой группы: ведь поле постоянно воспроизводит и структурирует само себя, так что «принуждение метода» определяется в данном случае не формальными требованиями дисциплины, а, в первую очередь, самим объектом исследования (Hirschauer, Amann 1997: 17–19). Другими словами, и исследовательские вопросы, и ответы на них рождаются в поле. Точно так же вопросы и проблемы, с которыми имеет дело мигрант, генерируются в повседневных ситуациях в городском пространстве: *«Все было нормально, честное слово. Единственное, первые пару месяцев раздражало, что нужно все время что-то решать. Проблемы бытовые, проблемы с общением, маршрут опять же заранее планируешь. Время не рассчитать — опаздываешь. Метро — черт его знает, какую карточку покупать. Нельзя расслабиться, вот как, все время думаешь, напрягаешься»* (И9).

Подобно этнографу, мигрант должен лавировать между ситуациями включенности и рефлексии. Разница заключается лишь в том, что для профессионального исследователя полное слияние с объектом в процессе «going native» является нежелательным и опасным, в то время как для мигранта такое слияние является заветной целью. Роль «остраненного» наблюдателя в этнографическом исследовании может воспроизводиться в контактах ученого с научным сообществом в ходе полевого исследования и в особенности на стадии возвращения в обычную среду после его окончания. Временный отказ от участвующей позиции может осуществляться и мигрантом, если только он не отказался полностью от контактов с оставленной средой, что в последнее время случается чрезвычайно редко: *«Да, хотя прошло уже много лет, я поддерживаю связь со своими друзьями в Саратове [...] Здесь у меня тоже есть друзья, в основном связанные с институтом, а позже с работой. Но эти два круга очень разные, и общение с ними очень разное»* (И10). Относительно развитая система связи и распространение новых каналов коммуникации позволяют индивиду одновременно существовать в

двух социальных пространствах и, сфокусировавшись на одном, оценивать другое с некоторой дистанции: *«Я созваниваюсь с родителями, друзьями, не часто, но бывает. Чаще всего общаемся по мылу. А еще я веду ЖЖ, стараюсь описывать свои впечатления. На самом деле, и им интересно, и мне забавно будет потом перечитать. Я стараюсь, чтобы увлекательно получилось»* (И5).

Повседневные коммуникации мигрантов в городской среде как «кризисные эксперименты»

В собранных нами нарративах встречаются эпизоды, когда мигрант, невольно, по незнанию, нарушая нормы коммуникации в городском пространстве, ломает привычный порядок общения и, тем самым, делает процесс (ре)конструирования городского повседневности более наглядным и очевидным. В определенном смысле он превращается в вынужденного этнометодолога, своими неожиданными и непредсказуемыми действиями «взрывая» рутинную логику повседневных интеракций. В этих случаях коммуникативные ситуации, в которые включены мигранты и горожане, живо напоминают знаменитые «кризисные эксперименты» Г. Гарфинкеля, нацеленные на нарушение привычного порядка.

Так, вспомним уже упомянутый нами выше эпизод, когда информант хочет узнать дорогу у пожилой женщины и дотрагивается до ее плеча, бесцеремонно вторгаясь в ее личное пространство, после чего она принимает его за грабителя и кричит на него (И7). В сходной ситуации оказался другой наш информант, искренне желавший помочь женщине с тяжелыми сумками: *«Я просто хотел помочь, вот и все. Я тысячу раз так дома делал. Она стояла такая растерянная, у нее огромные такие мешки были. Я просто подошел и говорю: “Давайте помогу” — и взялся за сумки. А она как начала их вырывать, да еще кричит: “Помогите!”* (И2).

Другие информанты вполне осознанно экспериментируют с коммуникативными рутинными, нарушая непроблематичный ход событий. К таким опытам, в частности, относится попытка нарушить «завесу молчания» при встречах со «знакомыми незнакомцами»: *«Каждый день на остановке я вижу одних и тех же людей и уже знаю всю их одежду. При этом все стоят и смотрят в землю или на дорогу, а не друг на друга. С одним мужиком я постоянно сталкиваюсь, когда на эту остановку иду. Однажды я с ним поздоровался. Он страшно удивился, внимательно на меня посмотрел и прошел мимо. Тут мне стало смешно, и я на следующий день уже из принципа с ним поздоровался. Он поднял бровь, но ответил. Теперь мы здороваемся каждый день. Это уже такой утренний ритуал у нас»* (И5).

Эти истории не только свидетельствуют о неумении мигрантов следовать коммуникативным нормам в городском пространстве, но и, нарушая ожидания, обнажают структуру городских коммуникативных рутин социальной дистанции и взаимного невмешательства. Они сходны с экспериментальной моделью, которая получает у Гарфинкеля название «нарушение ожидания, что знание о ходе интеракции представляет собой общеразделяемую схему коммуникации» (Garfinkel 1963), только в настоящем «кризисном эксперименте» участники вели себя с хорошо знакомыми людьми, как если бы те были незнакомцами, а реальных жизненных ситуациях мигранты вели себя с незнакомыми так, как если бы были с ними знакомы.

Итак, опыт освоения нового культурного пространства, реконструированный в глубинных интервью внутренних мигрантов, принадлежит к числу альтернативных городских нарративов. На наш взгляд, в нем удачно сочетаются отсутствие рутинизированного знания о городе и разнообразие и интенсивность опытов столкновения с городской повседневностью. Мы обнаруживаем ряд параллелей в позициях профессионального этнографа, исследующего городское пространство, и приезжего, вынужденного осваивать это пространство, и, опираясь на эту аналогию, рассматриваем мигранта как «наивного этнографа» города. Используя позицию «очуждения», исследователь способен эксплицировать локальное рутинизированное знание об изучаемой среде, зачастую недоступное в вербальной форме. Выявление этого знания на уровне повседневных практик является и задачей мигрантов, хотя в отличие от этнографического опыта, их повседневный опыт закрепляется лишь на уровне индивидуальных или коллективных воспоминаний, а также материальных и социальных изменений общего культурного контекста — в социальных действиях.

Приложение. Описание информантов

Информант 1: женщина, 36 лет, Мурманск, стаж жизни в Петербурге — 18 лет.

Информант 2: мужчина, 25 лет, Ижевск, стаж жизни в Петербурге — 3 года.

Информант 3: мужчина, 21 год, Ростов-на-Дону, стаж жизни в Петербурге — 5 лет.

Информант 4: женщина, 20 лет, Выборг, стаж жизни в Петербурге — 3 года.

Информант 5: мужчина, 19 лет, Иркутск, стаж жизни в Петербурге — 2 года.

Информант 6: женщина, 25 лет, Арзамас, стаж жизни в Петербурге — 4 года.

Информант 7: мужчина, 30 лет, Улан-Удэ, стаж жизни в Петербурге — 3 года.

Информант 8: женщина, 23 года, пос. Буково, Карачаево-Черкесия, стаж жизни в Петербурге — 5 лет.

Информант 9: мужчина, 25 лет, Великий Новгород, стаж жизни в Петербурге — 4 года.

Информант 10: женщина, 40 лет, Саратов, стаж жизни в Петербурге — 20 лет.

Информант 11: — мужчина, 20 лет, Воронеж, стаж жизни в Петербурге — 4 года.

Информант 12: женщина, 20 лет, Псков, стаж жизни в Петербурге — 3 года.

Литература

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, «Кучково поле», 2001.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Academia-центр, Медиум, 1995.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц, «Кучково поле», 2000.

Запорожец О., Лавринец Е. Прятки, городки и другие исследовательские игры (urban studies: в поисках точки опоры) // *Communitas / Сообщество*. Научный альманах. Выпуск 1. 2006.

Левин-Строс, К. Неприрученная мысль // *Первобытное мышление*. М.: Терра, 1999.

Милграм С. Городская жизнь как психологический опыт // *Эксперимент в социальной психологии*. СПб.: Питер, 2001.

Серто де М. По городу пешком // *Communitas / Сообщество*. Научный альманах. Выпуск 2. 2005.

Agar M. H. *The Professional Stranger*. New York: Academic Press, 1980.

Beck U. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1986.

Bertaux-Wiame I. The Life History Approach to the Study of Internal Migration // *Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences* / Ed. by D. Bertaux. Beverly Hills, London: Sage, 1981.

Brown L.A., Sanders R.L. Toward a Development Paradigm of Migration, with Particular Reference to Third World Settings // *Migration Decision Making. Multidisciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries* / Ed. By G.F. De Jong, R.W. Gardner. New York: Pergamon Press, 1981.

Garfinkel H. A Conception of and Experiments with "Trust" as a Condition of Stable Concerted Actions // *Motivation and Social Interaction* / Ed. by O.J. Harvey. New York: Ronald Press, 1963.

Garfinkel H. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967.

Geertz C. *Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight* // *The Interpretation of Cultures. Selected Essays*. NY: Basic Books, 1973.

Goffman E. *Interaktionsrituale*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1971.

Goffman E. *Stigma: ueber Techniken der Bewaeltigung beschaedigter Identitaet*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1994.

Han P. *Soziologie der Migration: Erklarungsmodelle, Fakten, Politische Konsequenzen, Perspektiven*. Stuttgart: Lucius und Lucius, 2000.

Hirschauer S., Amann K. *Die Befremdung der eigenen Kultur. Ein Programm* // *Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1997.

Hitzler R., Honer A. *Bastellexistenz. Ueber subjektive Konsequenzen der Individualisierung* // *Riskante Freiheiten* / Hrsg. U. Beck, E. Beck-Gernsheim. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1994.

Lenz-Romeiss F. *Die Stadt — Heimat oder Durchgangsstation?* Muenchen: Georg D.W. Callwey Verlag, 1970.

Malinowski B. *A Diary in the Strict Sense of the Term*. NY: Harcourt, Brace & World, 1967.

Park R. E. *Human Migration and the Marginal Man* // *AJS* 1928. № 33.

Simmel G. *Soziologie. Untersuchungen ueber die Formen der Vergesellschaftung*. Berlin: Duncker und Humblot, 1958.

Schatzmann L., Strauss A.L. *Strategie fuer den Eintritt in ein Feld* // *Explorative Sozialforschung: Einfuerende Beitrage aus "Natural Sociology" und Feldforschung in den USA* / Hrsg. K. Gerdes. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1979.

Schuetz A. *Der Fremde* // Schuetz A. *Gesammelte Aufsaezte*. Bd. II. *Studien zur soziologischen Theorie*. Haag: Martinus Nijhoff, 1972.

Schweizer T. *Wie versteht und erklart man eine fremde Kultur? Zum Methodenproblem der Ethnographie* // *Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und Sozialpsychologie*. 1999. Heft 1. № 51.

Stonequist E.V. *The Marginal Man. A Study in Personality and Culture Conflict*. New York: Russel & Russel, 1937.

Wax R.H. *Das erste und unangenehmste Stadium der Feldforschung* // *Explorative Sozialforschung: Einfuerende Beitrage aus "Natural Sociology" und Feldforschung in den USA* / Hrsg. K. Gerdes. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1979.

Wirth, L. *Urbanism as a Way of Life* // *Classic Essays on the Culture of Cities* / Ed. by R. Sennett. New York: Appleton-Century-Crofts & Meredith Corporation, 1969.

Whyte W.F. *Street Corner Society: the Social Structure of an Italian Slum*. Chicago, Ill.: University of Chicago, 1993. Научные сообщения